

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ДЕЛО СОБОРНОЕ

К 75-летию Юрия Селезнёва

Читаешь воспоминания о Юрии Селезнёве и ловишь себя на мысли, что все пишущие о нём рисуют портрет гармоничного и одухотворённого человека, жившего в абсолютном ладу с самим собой, наделённого качествами бескомпромиссного бойца.

“Он ощущал себя и был на самом деле доблестным воином в сражениях за духовные и культурные ценности своего народа, за святыни Отечества, против враждебной пропаганды, пренебрежительных и двусмысленных оценок, издевательского пародирования, всего того, что сам он называл “паразитарным использованием” национального наследия... Короткая эта жизнь была так наполнена, так многообразна и богата трудом и вдохновением, что можно, не погрешив, сказать: он жил много. Время в его жизни было как бы плотней, наполненней, чем у других... Его душа, кажется, трудилась день и ночь. Вернее, это был не труд, а состояние – неустанное горение и кипение мысли и дела, как будто бы от самого Юрия Ивановича, от его усилий не зависевшее...” (Валерий Сергеев).

“Для него литература – мировая и русская, старая и новая – не застывший раз и навсегда слепок с действительности, но продвижение, продление жизни в бесконечность, постоянно растущий животрепещущий образ. Для него литература – не механическая сумма писателей и национальных достояний, но их непрекращающееся взаимодействие, в котором нет деления на живых и мёртвых. Так и в русской литературе видит он дело соборное, все голоса для него сливаются в одно стройное звучание” (Юрий Ложиц).

“Душевно богатый и талантливый, он самоутверждался, отстаивая положительные идеалы, завещанные многовековым нравственным опытом, его совестью, и воплощённые в великой нашей литературе... Страсть, с которой он боролся за очищение этих идеалов от всякого рода морально и эстетически порочных примесей, доходила у него до самозабвения. Он не боялся ответных ударов, а уговоры (мол, с твоим-то дарованием, да если б помягче, поддипломатичнее, Юра, ты б далеко и высоко мог пойти!) на него не действовали. Временами он напоминал мне луспекаевского героя из “Белого солнца пустыни” с его теперь уже знаменитым: “Я мзды не беру! Мне за державу обидно...” (Евгений Лебедев).

“Как чист был взгляд его глаз, так чист он был в отношении своих пристрастий. И если он верил в какую-то идею или в какую-то книгу, он имел смелость сказать о своей вере на любом суде” (Игорь Золотуский).

“С уходом Юрия Селезнёва... в нашей душевной жизни с течением времени всё более стала ощущаться не просто недостача в безвременной потере рус-

ского таланта. Образовалась некая брешь, незаполненность, дыра в том участке духовного неба, который, кажется, мог и должен был (судя по уже вышедшим работам) обследовать и поставить диагноз только он... Чувствовалось... что для него главное – в возможности работать: неважно – где, в каких условиях, но работать над тем, что тебе действительно дорого. Продвигаться шаг за шагом к намеченной цели, иступлённо трудиться (а трудиться, и именно иступлённо, самозабвенно, он умел!), не обращая ни на что внимания, на высоте, где захватывает дух, без спасательного пояса и каски” (Олег Михайлов).

“Недолг был его земной путь, но сделанное им по сей день объясняет многое в происходящей в нашей России трагедии. Перелистывая страницы книг и журнальных статей, невольно вспоминаешь его самого, человека порывистой честной души, влюблённого в русскую словесность. Способного до смертного часа защищать её от ненависти и литературного гноища перерождающейся цивилизации” (Сергей Лыкошин).

Время вхождения Юрия Селезнёва в литературу – время чрезвычайно любопытное. Начало 1970-х годов. Только что отгремела ожесточённая схватка, в которой сошлись “Новый мир”, “Октябрь” и “Молодая гвардия”. Два главных редактора двух журналов – “Нового мира” и “Молодой гвардии” – лишлись своих должностей. Твардовский ушёл по собственному желанию, Никонов был снят специальным постановлением. Вскоре добровольно уйдёт из жизни и главный редактор “Октября” Кочетов. Партийное постановление “О литературно-художественной критике” подведёт своеобразную “черту” под литературными схватками предыдущего десятилетия, “разоблачая” “крайности” либерального и консервативно-почвенного направлений.

Прошелестела статья Александра Яковлева “Против антиисторизма”, больше напоминавшая “донос по высшему начальству”, даром что автора после неё отправили в “почётную дипломатическую ссылку”, однако основные положения этого “труда” легли в основу государственной литературной политики.

Казалось бы, наступила столь желанная “тишь да гладь”. И вдруг на поверхности этой “гладь” появляется новая фигура – молодой Юрий Селезнёв со своей статьёй “Если сказку сломаешь...” (таково её окончательное заглавие). И стало очевидно, что точным, безошибочным критическим анализом Селезнёв вновь разворошил осиное гнездо. Много позже мне в руки попала машинописная стенограмма заседания представителей секции детской литературы, состоявшегося тогда в Ленинграде. Какие проклятия, сыпавшиеся на голову критика, сохранила она, с кем только его не сравнивали! Статью квалифицировали как негативное литературное явление, впервые проявившееся после доклада Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”.

“За публикацию моей статьи и ещё одного парня из Ленинграда в сборнике “О литературе для детей”... сняли первого директора издательства ленинградского отделения “Детской литературы” – случай в последние годы уникальный и настораживающий, – писал Селезнёв Александру Федорченко, – не помогло даже заступничество его родного брата – Б. Стукалина, председателя Госкомиздата СССР, то есть, по существу, министра печати...”

И вся его дальнейшая литературная жизнь проходила в атмосфере боя на литературной ниве – за душу человеческую, за совесть человеческую, за русскую гармонию. Главным полем битвы в 1970-годы стала русская классика.

Статьи критика о Гоголе, Тютчеве, Тургеневе, Чехове не просто вскрывали потаённые смыслы их произведений. Классика рассматривалась в контексте единого, непрерывного потока, несущего свою благотворную духовную влагу со времён “Слова о Законе и Благодати” митрополита Илариона и до наших дней. Она рассматривалась в контексте народного мироотношения: “Дело не в том, сколько представителей народа стали героями того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными идеалами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев”.

В этом направлении он и работал в должности заведующего серией “Жизнь замечательных людей” в издательстве “Молодая гвардия”. Книги Михаила Лобанова, Сергея Семанова, Олега Михайлова, Игоря Золотусского, Валерия Сергеева, выходившие в то время в этой серии, читатели рвали из

рук, сметали с прилавков книжных магазинов. Русская литература в своём подлинном значении, в своей адекватной интерпретации, очищенная от всех накопившихся за десятилетия вульгарно-социологических и “либерально-прогрессистских” напластований, вставала с их страниц. Селезнёв и здесь, на ниве литературной политики в высоком смысле этого слова, был на высоте. Его незримое влияние на самого читающего в мире человека той поры отрицать невозможно.

Естественно, он нажил себе массу врагов. И здесь сомкнули ряды официальные представители концепции “социалистического реализма” с неофициальными подпольными литераторами диссидентского толка.

Василий Кулешов, Юрий Суровцев, Александр Дементьев, Феликс Кузнецов горохом рассыпали в разные стороны словечки “патриархальщина” и “внеисторичность”. С ними в унисон запел бывший редактор ЖЗЛ, позже сбежавший из Советского Союза Семён Резник. В книге, издательски названной “Выбранные места из переписки с друзьями” (обезьяна, передразнивающая Гоголя!), он собрал полное собрание своих доносов советского времени в Московскую писательскую организацию в журнал “Коммунист”, в ЦК КПСС на литераторов, ему не нравящихся, и на редакторов, не отвечающих на его “сигналы”. Жалобы и кляузы на Юрия Лощица, Олега Михайлова, Дмитрия Жукова, на журнал “Наш современник” чередовались в ней с настырными требованиями “немедленной реакции”.

Соцреалистических “мастодонтов” здесь поистине невозможно отличить от “диссидентов”, ибо автор использует одни и те же формулировки: “историческая правда подменяется мифами”, “проводятся идеи, направленные на подрыв нравственных ориентиров”, “всё передовое, прогрессивное, революционное в России XIX века предаётся... поруганию, а всё реакционное и лакейское превозносится”, книги “пропитаны дремучим национализмом... и замешаны на патологическом страхе перед прогрессом”, “группа... литераторов почти открыто взяла на вооружение идеологию национализма, шовинизма и антисемитизма”, а сам Селезнёв “бросается спасать... всю русскую культуру от посягательств каких-то интриганов и злодеев”... При написании последней фразы автор сих пассажей вполне мог бы посмотреть в зеркало...

Сам же Юрий Иванович в частных письмах сетовал на дикое количество анонимных доносов, помимо “официальных статей”: “За своего “Достоевского” пришлось выслушать такие наветы, что сердце бы захолонуло у другого, а сколько анонимок делается!” – и описывал своё состояние в перерыве между прошедшими и грядущими бурями:

“Знаю, не всё даром, было, наверно, и что-то дельное; не случайно же книжки жэзээловские сейчас до пены доводят кое-кого, и расправы требуют. И немедленной, – значит, работают. А ведь в этих книгах и я есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же и задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не побояться написать). Тратил время – не рабочее: на работе – встречи, мелочи, бумажки, и главное – бумажки, в день отвечаешь на двадцать-тридцать писем, на кучу жалоб, доносов и т. д., а дома, после работы, читал уже рукописи, редактировал, писал письма с советами и просьбами, чтобы ещё доработали, чтобы ещё прояснить и т. д. И снова на меня – как на дурака... Никогда не ждал, да и не имел никакой благодарности за это, кроме немногих добрых, порой просто обязательных в таких случаях слов, да и не ради них работаешь, не в словах дело: из неприятностей вылезти и не рассчитываю – при моей работе и при моём характере это и невозможно, угроз уже давно не пугаюсь, обид тоже...”

Но это обращено лишь самым близким друзьям (которых, как известно, наперечёт). На людях – лёгкость, жизнерадостность, абсолютная убежденность в своей правоте, непреклонность и доброжелательное участие. Таким, во всяком случае, Селезнёв запомнился мне, и знаю, что я здесь не одинок.

“Нужно действовать... Ведь кто-то должен. Разве мы не у себя дома живём? Не в России?... Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести”, – эти слова Селезнёва запомнил Николай Бурляев.

“Делом своей совести” Селезнёв считал (и справедливо!) книгу о Достоевском в серии ЖЗЛ, ставшую лучшей биографией классика. Он сделал всё, чтобы снять с Достоевского густые напластования “достоевщины”, чему, в частности, посвятил блистательный и точный разбор книги Б. Бурсова “Личность Достоевского”. Но главное всё же было в другом: Достоевский у Селезнёва –

личность соборная, всем своим творчеством, всей своей сутью отрицающая некое “право” отдельной личности вершить чужие судьбы. И мир его не полифоничен (бахтинская концепция полифонизма мгновенно вошла в широкую моду), но соборен. “В полифоническом мире, — писал Селезнёв, — вообще невозможно художественно поставить в центр слово народа — осуществить ту идею и ту задачу, которую, по нашему убеждению, смог осуществить Достоевский и которую он мог и сумел воплотить уже не на уровне полифонизма, но на уровне соборности. Здесь слово народа, даже и безмолвствующего народа, даже и вовсе не явленного сюжетно, может проявить себя не только наряду с другими, но и внутри каждого из равноправных участников диалогических взаимосвязей, и через них...” “Преклонение перед правдой христианской”, “народную правду, правду совести” выделял он как основополагающую черту героев Достоевского.

“Достоевский. Его любят или ненавидят. И любят и ненавидят страстно. Его либо принимают, либо отрицают, нередко доходя и в том, и в другом до крайностей...” Так он начал статью “Великая надежда Достоевского”. И эти слова в будущем осветились неожиданным и парадоксальным ответом.

Уже в начале так называемой “перестройки” прогремела статья ещё одного “прогрессивного достоевоведа” Юрия Карякина “Стоит ли наступать на грабли?”, где автор беспощадно издевался над неким обобщённым “сталинизмом” и “ретроградом”, а речь “сталиниста” составил из отрывков многочисленных писем безымянных корреспондентов, объединив их в единый текст своего оппонента под именем Инкогнито (приём чрезвычайно удобный и безопасный — можно при случае передёрнуть и оглупить мысли противника до нужной тебе “кондиции”, а то и вписать “необходимое”, фальсифицируя оригинальный текст). И, в частности, он написал следующее: “Уже давно я заметил одну закономерность: люди Вашего склада почему-то очень активно не любят — прямо-таки ненавидят — Достоевского”. При этом даже процитировал отрывок из речи Шкловского (не назвав его) на первом съезде писателей, где тот предлагал “судить Достоевского как изменника”.

Пройдёт несколько лет, и самый что ни на есть характерный представитель либерального прогресса и неистовый апологет расставания России с “проклятым прошлым”, идейный абсолютный соратник Карякина по “либерализму” Анатолий Чубайс вполне осознанно опубликует свои недвусмысленные откровения (правда, в зарубежной, а не в отечественной печати):

“Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку я не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски...”

Селезнёв точно выделил и описал этот тип личности как в анализе героев Достоевского, так и при исследовании персонажей современных ему классиков, в частности, разбирая “Царь-рыбу” Астафьева и приснопамятного Гогу Герцева.

Он точно предугадал будущую ставку наших новых идеологов на персонажей подобного типа, на законченных индивидуалистов, озабоченных “правами личности”, которые, как рыбы в воде, ощущали себя в атмосфере России 90-х годов. Оттого естественным и совершенно оправданным в легендарной речи в ходе дискуссии “Классика и мы” было его обращение к Достоевскому — самому современному, как он подчеркнул, писателю наших дней.

Прозвучавшие тогда слова об идущей третьей мировой войне заставили окаменеть распалившийся, бьющийся в антикультурной истерии зал. Его речь до сих пор не забылась, она, надо признать, остаётся актуальной, ибо пророчество литературного критика оправдалось полностью. Сегодня, после очевидного крушения ценностной иерархии в культуре, разложения смыслов, отрыва художественного слова от реальной жизни, строки, написанные Селезнёвым более трёх десятилетий назад, остаются наполненными жгучими токами современности:

“Необходимость учёбы у классиков, необходимость творческого восприятия уроков мастерства диктуется задачей не возвращения вспять, но потребностью нашего времени, потребностью возрождения высоких критериев художественности и духовности слова, литературы. Ибо и в наше время слово — великое дело. А великое дело требует и великого слова”.

“Мера нашей памяти о прошлом, мера нашего понимания целей и смысла, подвижничества великих предков – это мера уровня нашего сегодняшнего сознания, нашего собственного отношения к нравственным, духовным, культурным проблемам современности. Это и мера нашего долга перед будущим, основы которого закладываются сегодня”.

Его мысли и убежденность, его творческое поведение, его бескомпромиссность вызывали не только ненависть врагов, но и тревогу у “своих”. Достаточно вспомнить, как после появления статьи “Мифы и истины” с точным и жестким разбором книги Олжаса Сулейменова “Аз и я” раздавались голоса, что, дескать, Селезнёв чрезвычайно неосторожен, что теперь из-за него “нашим” придётся “труднее”. Кульминацией практикуемой “тактики” чередования “выверенных” выпадов с испугом в сочетании с желанием убрать с глаз подальше того, кто “подставляет”, стала памятная история с 11-м номером “Нашего современника” за 1981 год и последовавшее за ней увольнение Юрия Ивановича из журнала.

А он никого не “подставлял”. Он просто не представлял себе, как можно иначе. Всё, что происходило в литературе и – шире – в культуре на его глазах, он мерил мерками классики в контексте идущей третьей мировой войны. И не стеснялся спорить с ближайшими друзьями. О ристалищах с ним на ниве древнерусской литературы оставил яркие воспоминания Валерий Сергеев. И Вадим Кожин счёл необходимым особо отметить, что “спор – то есть острый, напряжённый диалог – был главной формой нашего общения с Юрием Селезнёвым с первой и до последней встречи”.

Не согласный со многими положениями знаменитой кожиновской статьи “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, он без тени сомнений напечатал её в том самом номере “Нашего современника”, рассчитывая в будущем на серьёзную дискуссию. Но именно продолжение разговора (выход статьи Аполлона Кузьмина в № 4 журнала за 1982 год) обернулось для него отлучением от работы в журнале и негласным запретом на любые журнальные и газетные публикации его статей.

Мы смотрели на него, как на красивого, благородного, мужественного витязя на поле брани. А он, глядя на нас, ещё только начинавших, ничего толком не сделавших, прозревал в нас какие-то возможности, нам ещё не ведомые. Николай Кузин вспоминал о задушевной и серьёзной беседе о литературе, которую завёл с ним Селезнёв при первой встрече, будучи знаком лишь с двумя-тремя рецензиями молодого критика.

Как-то мы встретились в коридоре “Литературной России”, будучи уже знакомы, но не более того. И Селезнёв, с приветливой улыбкой поздоровавшись, вдруг сразу взял быка за рога: “А когда у Вас выйдет книга?” У меня к тому времени было напечатано лишь несколько коротких рецензий и первая серьёзная статья. Ни о какой книге я ещё и не думал. А он... Сейчас мне кажется, что он словно уже видел её.

Последние два года жизни он был погружён в раздумья о Лермонтове, который должен был стать следующим после Достоевского героем его жэзээловской книги. И сейчас, в год двухсотлетия Лермонтова, с особенной печалью сознаёшь, что этой книги не будет уже никогда.

Не будет и книги “У вещего дуба” – о народных преданиях и мифологических сюжетах, заявку на которую он незадолго до кончины принёс в издательство “Современник”.

Но остался классический “Достоевский”. Остались книги “Глазами народа”, “Мысль чувствующая и живая”. Осталось его страстное, налитое удивительной энергетикой, во многом пророческое слово, посвящённое вечной теме: классика и мы.